

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ!

О ТЕНДЕНЦИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ

Прошел год после XXII съезда КПСС. А съезд действительно был историческим и означил начало нового духовного подъема нашего общества, освободил мысль и творчество от пут старых догм, дал могучий толчок для новых открытий во всех областях жизни.

И время этих открытий настает. В том числе и в мире книг, в мире художественной литературы, если говорить точнее. На читательский стол в истекшем году легло немало произведений, вряд ли оставивших кого-нибудь равнодушным.

Те благотворные процессы в нашей литературе, начавшиеся как прямой результат великой деятельности Коммунистической партии, решительно восстанавливающей ленинские нормы во всех областях жизни, дали в истекшем литературном году новые плоды.

И если выразить самую главную черту лучших книг нашей литературы одним словом, то я сказал бы: человечность.

Именно — человечность! Отнюдь не всепрощение, не сентиментальность, а глубокая всепроникающая человечность в том ее, на наш взгляд, высшем понимании, что закреплено в главном моральном девизе нынешнего советского общества: «Человек человеку — друг, товарищ и брат». Победа в человеке чистого и лучшего над темным и злым. Доброта. Непримиримость к злу. Душевная теплота, доверие, всепобеждающая сила товарищества и единения. Высота моральных критериев, которыми оценивается человек.

ЧЕРТЫ ВРЕМЕНИ неизгладимо отпечатаны на последнем романе К. Федина «Костер», который начал печататься в журнале как раз в дни XXII съезда КПСС, а отдельным изданием вышел уже в 1962 году.

Небезынтересно сопоставить принципы строения двух романов автора — «Необыкновенное лето» и «Костер». Оба романа связаны общими героями и оба о войне. «Необыкновенное лето» — это 1919 год, самый разгар гражданской войны в России. «Костер» — лето 1941 года. В «Необыкновенном лете», как писал сам автор, на первый план «выступила тема истории». Своеобразным ключом к архитектонике романа стала карта военных действий. Романист многократно возвращается к характеристике военного положения, тут есть даже специальные главы вроде «Пролога к военным картинам», где трибуну повествователя проочно занимает историк. Мы видим как бы панораму истории, мир с птичьего полета.

Война 1941—1945 гг. по масштабам, конечно, превосходит гражданскую войну. Меж тем в «Костре» нет ничего от «романа — военной карты». «Костер» как бы сплетен из четырех жил: судьба крестьянской семьи Веригиных, судьба партийца Извекова, судьба драматурга Пастухова — и красная нить! — судьба актрисы Анны Улиной. Масштабность тут достигается не изображением мира «с птичьего полета», не диорамами и панорамами, а многосторонностью картины жизни, углубленностью психологических характеристик героев.

С удивительной последовательностью автор стремится все события и повороты Истории раскрывать только через судьбу героев. И из этих индивидуальных линий складывается картина величественной народной судьбы. Еще трудно говорить, как сложится целое, ибо перед нами лишь первая часть, но «Костер» обещает многое и многое в судьбах советского романа.

Ибо этот роман не «батальное произведение», как ожидали иные. Это роман — глубоко современный по своим проблемам, характерам, конфликтам и его форма — тоже заслуживает самого пристального внимания. Ведь это произведение о новых нравственных критериях, которые время предъявляет герою. Нравственными критериями нового гуманизма поверяются и качества революционера, и гражданский долг каждого и, наконец, право на искусство, воистину современное и необходимое народу. Из этого гуманистического замысла и вытекает новая форма романа, в котором все гигантские события эпохи оцениваются прежде всего тем, что они несут просто человеку. Если бы это не звучало высоконе, можно было сказать — Федин ищет в «Костре» наиболее человеческую конструкцию романа.

МОЛОДОЙ КИРГИЗСКИЙ писатель, чьи произведения ныне стали известны и далеко за пределами Советского Союза — Чингиз Айтматов — недавно писал в «Литературной газете»: «С развенчанием партией культа личности наша литература широким фронтом двинулась в глубины внутреннего мира человека, стала полностью говорить о движениях его души, о его думах, помыслах и мечтах, о его страданиях и радостях. Высокое достоинство творца коммунизма — вот что украшает героев нашей литературы». Эти замечательные слова можно отнести и к творчеству самого Чингиза Айтматова, а чей сборник «Повести гор и степей» вышел в «Роман — газете». В его повестях и рассказах — «Тсполек мой в красной косынке», «Верблюжий глаз», «Первый учитель» — покоряет нас свежее и чуткое восприятие мира, талантливое изображение новой культуры чувств нашего современника, высокая и строгая требовательность к нравственному облику героев. Говоря словами самого Айтматова, его герои, подчас ошибаясь, заблуждаясь, идя трудным путем, постигают великий закон нашего общества, где «человек у человека учится доброму».

НАШ СОВЕТСКИЙ человек стоит сегодня в центре мира. В очерках Виктора Некрасова «По обе стороны океана» («Новый мир» №№ 11—12) приводятся слова наших зарубежных друзей, сказанные в адрес советских людей: «На вас все смотрят, с вас и спрос». Действительно, с советского человека большой «спрос» и ему до всего дела. Прочтите эти очерки Некрасова — это не туристские записи, а раздумья, размышления, споры нашего человека за рубежом. О современном мире. О месте искусства в нем. И прежде всего о нынешнем предназначении советского искусства для всего человечества. Ибо интеллектуальная атмосфера, в которой живет советский читатель и советский художник, — необычайно насыщена. Сегодня во всей советской литературе, в романе в частности, видна тенденция в высшей степени обнадеживающая. Она, эта тенденция, в раздумье и осмысливании, философском и эстетическом. О времени и о себе. Причем о себе как частице общего, как бойце великой армии строителей коммунизма. Это одна из граней процесса расцвета личности в коммунистическом обществе.

ВОТ ОДНО из наиболее спорных и значительных произведений последнего времени — «Люди, годы, жизнь» И. Эренбурга. (Первые две части вышли отдельной книгой в издательстве «Советский писа-

тель» в 1961 году. Третья часть печаталась в 1961 г. в «Новом мире», четвертая часть — «Новый мир» №№ 4—6 за 1962 г.).

Формально это — мемуары. Речь идет о событиях и людях всем известных, о начале века, первой мировой войне, революции, 20-х и 30-х годах, первых месяцах второй мировой войны, Маяковском и Пикассо, Модильяни и Арагоне, Тувиме и Бабеле, Хемингуэем и Кольцовыми... Оценки автора субъективны, пристрастны, не все с ним согласятся... Об этой книге уже начали спорить и будут спорить еще долго. В ней резко выражена личность автора, который несмотря на свои семьдесят с лишним лет полон энергии, и неуступчивости. И все же это не только и даже не столько мемуары. Это весьма своеобразное художественное произведение, основной стержень которого — размышление о прошлом и настоящем, раздумье над историей для понимания сущности человека завтрашнего дня. Это — мемуарный роман нового, современного типа.

Автор не свидетель — он участник, у него в романе есть право «на жизнь, на слезы, на любовь», восторг, страдания и радость. Без этой личной судьбы — книги нет.

И. Эренбург строго судит и людей и события — строго всех себя. «Я в жизни много петлял», — это сказано не из кокетства, а в осуждение. Эренбурга застала врасплох первая мировая война, еще больше — революция. «Когда история переходит со страниц учебника на окрестные улицы, нет ничего глупее и унизительнее роли зрителя». В великие годы революции он был зрителем — притом растерявшимся. Были и другие растерявшиеся среди интеллигенции. Книга Эренбурга — честный рассказ о том, как пришло к нему понимание справедливости нового мира, о том, как гуманизм и коммунизм слились в одно высшее понятие XX века.

Перед нами роман, претендующий на то, чтобы дать портрет века. Судеб искусства и гуманизма. Судеб мира нового и мира отмирающего. Его проблематика, место действия — вся Европа; время действия — полстолетия. Автор говорит о себе: «Мне все же повезло! Я встретил в моей жизни некоторых людей, которые определили облик века. Я видел не только туман и шторм, но и тени людей на капитанском мостике». И говорит это по праву. Важно не только кого автор видел, очень важно — как это видел. Хемингуэй и Бабель, Мандельштам и Диего Ривера, Пикассо и Кольцов — они не «просто описаны», это не только портреты — это герои особого романа, они появляются на страницах, раскрываются, проявляют себя во взаимодействии с основным героем романа — И. Эренбургом. Это книга, где есть оптимизм поступательного хода истории, но это оптимизм выстраданный. Но в этой оптимистической книге немало и горечи, ибо, как справедливо говорит автор, — жизнь никогда не похожа на мечты о ней — она проще и величественней. Подождем пятой части романа...

ЮРИЙ БОНДАРЕВ, которого читатель узнал и полюбил как автора отличнейших военных повестей, выступил с большим романом о послевоенной жизни — «Тишина» («Новый мир» №№ 3—5. См. «В мире книги» № 9 рецензию на этот роман). Во времена Сталина у нас в литературе нередко изображалось возвращение фронтовика как некое сплошное преуспеяние и почти что сказочная удача во всем.

У Бондарева тема возвращения — трагична. Сергей Вохминцев, капитан, фронтовик, истинный коммунист — в обманчивой тишине послевоенной жизни терпит поражение. Злые люди восторжевались, выгнали его из партии, из института... У нас был на заре советской литературы прекрасный роман А. Фадеева «Разгром», кончавшийся гибелью отряда, в то время как весьстрой книги говорил о непобедимости того дела, за которое

погибли герои. «Тишина» тоже, несмотря на трагизм — книга глубоко оптимистичная, исполненная надежд на торжество нашей коммунистической справедливости.

Бондарев не изображает широкой исторической панорамы — его роман история жизни и борьбы лишь его молодого героя Сергея Вохминцева. Но частная человеческая судьба, изображенная Бондаревым, несет в себе типические черты пережитого времени. Ведь Вохминцев сам куда сильнее в своей справедливой борьбе и труса и предателя Уварова, и жулика и «стукача» Быкова, и этой костяной ноги — Свиридова... И как побеждал на фронте, он справился бы и здесь, в мирной жизни, в институте, и за него пошли бы все многочисленные друзья, настоящие советские люди, если бы... Если бы частную, мелкую, так сказать, индивидуальную несправедливость не поддерживала несправедливость большая — та, что шла от Сталина...

Бондарев — мастер психологического рисунка и строгой, если хотите, даже канонической формы повествования. У него все время за внешним — словами, жестом, поступком — стоит движение души, внутреннего мира героя. Так во всех сценах — в том числе и той, которую по праву считают лучшей в романе — аресте отца. Сила сцены не в том, что здесь впервые столь резко сказано о «запретном». Сила в том — как это все изображено. Берииевские молодчики, пришедшие ночью за отцом Сергея, в сущности выполняют чужой приказ. И не внешнее их поведение в эпизоде самое главное. Автор как бы приоткрывает нам душу одного из них — старшего лейтенанта с мучнистым от ночной жизни лицом. Не столько наглость, желание на каждом шагу унизить человека поражают нас в нем, сколько его омерзительная спекуляция на святом, его какая-то органическая убежденность, что мир (и он сам тоже) состоит из подлецов. Только что хамивший, этот старший лейтенант внезапно меняет тактику и предлагает Сергею ради карьеры и смысли предать отца. «Я коммунист и ты коммунист. Жизнь свою не порть», — вот его аргументация, где святые для каждого из нас слова, до предела извращены и опоганены.

Не все удалось автору, роман его неровен, временами в действии досадные провалы. Но гражданская направленность книги, ее лучшие талантливые страницы — отвечают думам и мыслям современного читателя.

ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ к людям — одна из существенных в нравственных категориях нашего общества. Читая новую повесть Павла Нилина «Через кладбище», вновь и вновь глубоко задумываешься над этим жгучим вопросом. Небольшая эта повесть, скжато, выразительно и точно написанная, вызывает немало ответных откликов в читательской душе. Вместе с ее юным героем — партизаном Михасиком — мы медленно движемся по оккупированному врагом району, остро переживаем драму в семье подпольщика Бугреева и вместе с тем же юным героем воочию видим, как разрушаются и падают прямолинейно — примитивные представления о людях, как возникает истинное понимание реальных связей между настоящими советскими людьми.

ЯХОТЕЛ бы обратить внимание читателей на роман Д. Грина «Иду на грозу» («Знамя» №№ 8—10). Мы не мыслим сегодняшнюю жизнь без науки или, говоря иначе, наука сейчас «общественна» для миллионов и десятков миллионов людей. В романе Грина наука — арена яростной борьбы ученых и лжеученых, карьеристов и беззаботников, столкновение разных психологических типов исследователей и т. п. и т. д. Характерна и та научная проблема, вокруг которой раскрываются людские судьбы — управление грозой!

Уже когда читатели прочли лет восемь назад роман «Искатели», написанный молодым ученым-электриком, все ощущали, что в литературу пришел своеобразный талант со своей жизненной темой. Эта тема — науч-

ное творчество и его противники. Позднее, чтобы ни писал Гранин, его, как стрелку компаса к железу, поворачивало «к главной теме». В новом романе он, что называется, выходит на оперативный простор. Здесь — все вплоть до споров, уголовных преступлений и любовных коллизий (последнее, кстати, увы — наиболее слабое в романе) происходит только и исключительно на плацдарме науки, ее людей.

Может, стоит упрекнуть автора или просто пожалеть о том, что, обрисовав очень увлекательно образ гениального, бескорыстного ученого Данкевича, противопоставив ему карьериста от науки Денисова, любителя обещать многое за короткий срок и никогда, конечно, не исполняющего своих обещаний, автор не сделал это главным конфликтом в романе. Но, с другой стороны, можно и понять Гранина, который хотел взять в качестве главных героев таких людей, которые больше, так сказать, «соизмеримы» с обыкновенным читателем. Талковы — блестательный счастливчик Тулин и его друг — «тихий», как его считают иные, неудачник и тугодум Сергей Крылов. Тут нет дидактической назидательности, вроде: счастливчик — обманщик, а скромняга — истинный талант. Тулин действительно талантлив, а Крылов подчас — тугодум и мямля. Но есть в обоих характерах живые силы, которые обеспечивают им в романе достоверное саморазвитие, самодвижение. Поэтому-то и терпит поражение «ослепительный» Тулин, что в момент решительных и трагических испытаний у него не оказалось того «запаса прочности», который есть у Крылова, твердо знающего для чего он ведет исследования...

Роман Д. Гранина — одна из книг с переднего края борьбы за утверждение передовой науки и передового человека в ней.

АВЕДЬ ЕСТЬ и иной ход — как говорят математики: доказательство от противного. Это сделал А. Яшин в своей повести «Сирота» («Москва» № 6).

Сколько раз мы читали справедливые (а иной раз и несправедливые) сетования критиков и читателей на то, что писатель имярек не показал, «почему герой Н. стал таким плохим». Сетования законные, но не всегда автор это может сделать — у произведения есть свои законы. Но вот в данном случае Яшин как раз обстоятельно, неторопливо, шаг за шагом прослеживает детство, юность, возмужание прохвоста Павла Мамыкина.

А он ведь и в самом деле сирота — погиб на фронте отец, а затем умерла и мать, остался он с братом на попечении бабки. Пока росли с матерью, хоть и бедовали, но ни председатель колхоза, ни правление не обращали внимания, а вот теперь — «проявили заботу». И Павел смекнул!..

Тут есть примечательный разговор директора школы и председателя колхоза. Председатель говорит: «В богатых и сильных ходить тоже не всегда легко... А слабому и отстающему вы обязаны помочь. Советская власть не позволяет обижать сирот. Нам и ссуды, и скидки, и шефская помощь». И умный, но вяловатый директор школы сокрушенно соглашается на это: «Да, действительно, в слабых ходить иногда легче, с них меньше спрашивается. Слабый может больше брать и меньше давать».

Вот Павел Мамыкин и приловчился — брать кусищами, а давать — фигу. Он учится, а брат младший — работает за него в колхозе. Но и учиться Павлу лень. С грехом пополам его пристраивают в ремесленное. Случайная травма — и он начинает на этом невиданную спекуляцию — ему уже и путевки в дом отдыха, затем в санаторий... Словом, «сирота» все, а он — ничего. Великолепная маленькая сценка, когда простая деревенская девчонка везет Павла на телеге в распутьцу на станцию. Телега завязла, но этот додон, юный, но уже законченный хам не шелохнется, чтобы помочь. В сердцах девчонка кричит: «Барин! До дыр просидел свою си-

дельницу! Еще один начальничек растет, не хватает их». Да, именно «начальничек» — из тех, что захребетниками сидят на трудовой шее, от которых никакого про-ку, кроме мороки.

Это — тип. Не боюсь сказать — Яшин открыл нам социально-вредный, сложившийся в наши дни, спекулирующий на нашем гуманизме тип современного пат-рата.

Весьма интересный роман «В стране Ивана» начал печатать в «Звезде» Эльмар Грин. Опубликованные главы говорят о многом. Но с окончательной оценкой, видимо, надо подождать. 1

ЕЩЕ ОДНА ВАЖНАЯ черта минувшего года — все расширяющийся приток свежих сил в литературу. Давно уже не было у нас такого устойчивого, на протяжении ряда лет идущего процесса пополнения писательских рядов. Среди новых имен есть немало таких, кто внушил самые серьезные надежды. Назову, к примеру, появившуюся еще в 1961 г. повесть Г. Владимира «Большая руда» (о ней писалось в журнале «В мире книг» № 7 и 12, 1961). Это произведение уже зрелого, сложившегося художника.

В 1962 г. молодая литература росла, так сказать, и вширь и вглубь. Выделяются произведения Э. Шима — сборник рассказов «Мартовский снег» (М., 1962) и повесть «Королева и семь дочерей» («Знамя» № 7). Замечена читателем и критиком повесть молодого прозаика В. Максимова «Жив человек» («Октябрь» № 10).

В журнале «Юность» (№№ 8—9) появилось новое писательское имя — Борис Балтер, выступивший с повестью «До свидания, мальчики». Всего несколько дней из жизни юных героев проходят перед нами,



ЭТО НОВЫЕ КНИГИ

но это переломные дни — кончена школа и пришел запрос из военного училища. А время? А время — канун Отечественной войны. Через год — над родным городом, мирным пляжем засвистят бомбы, загрохочет кровавая буря... А пока — грустное и прекрасное прощание с юностью, первой любовью, детскими иллюзиями, предчувствие суворой судьбы... Емкая эта повесть, написана чистыми и ясными красками, создающими поэтическое ощущение свежести, утра, юности.

...Будто прямо продолжает судьбы балтеровских героев повесть В. Рослякова «Один из нас». Это тоже дебют нового прозаика и дебют удачный. Его герои уже успели прийти на студенческую скамью. Они — филологи, или, как говорят в университетских кругах, — гуманитарии. А может, вернее сказать, — гуманисты. Вихрастые, смешные, жаркие, неистово влюбленные в жизнь, в справедливость революции, в человека... Они сравнивают в своих стихах мир с яблоком — «где Родина — там красный цвет солнца, а остальное зелено пока». Они полны чудесных планов переустройства мира по законам счастья. А век — тот заготовил для них иную работу. Война по пятам гонится за их юностью. И вот уже гуманисты в солдатских шинелях озарены пожарищем рокового сорок первого... Об этом рассказано сильно, взволнованно, достоверно.

Видимо, внутренняя закономерность нынешнего этапа развития литературы проявилась в этом настойчивом обращении к лирической прозе, наблюдаемом у самых разных авторов. Свободная, лишенная канонов и жестких рамок форма лирической исповеди, в частности у Б. Балтера и В. Рослякова, открывает новые и новые возможности затронуть самые сокровенные струны читательского сердца.

НЕЛЬЗЯ НЕ СКАЗАТЬ и о чудесном белорусском прозаике Василе Быкове, выступившем с военной повестью «Третья ракета» («Дружба народов» № 2 и отдельное издание в «Романгазете»). «Третья ракета» — это в прямом смысле проза на уровне самых современных требований — мускулистая, «плотная», когда на малом количестве страниц исключительное богатство наблюдений, обладающая четким рисунком, богатым подтекстом. Повесть Быкова — это и суровая, кое в чем впервые высказанная правда войны, это и глубокие моральные проблемы, те нравственные критерии, с которыми подходят у нас к современному человеку. И недаром третья, последняя ракета (когда расстреляны все патроны) выпускается героем повести в хама, предателя, подлеца, затесавшегося в ряды советских солдат и уже почти что «всплывшего на поверхность»... Ибо гуманизм — это и непримиримость. Неплохо сказал современный поэт С. Куняев: «Добро должно быть с кулаками». У Быкова оно — с кулаками. Но добро!

О МОЛОДЫХ СЕГОДНЯ можно говорить долго — столь велик выбор и столь интересно созданное ими. Но я хотел бы сказать о новом, более зрелом качестве нашей молодой прозы. Пожалуй, особенно характерно это видно на творчестве В. Аксенова.

Василий Аксенов вошел в литературу бурно и, надо сказать, удачливо. Его первая повесть «Коллеги» — до известной степени автобиографичная — была тепло встречена критикой, подчас прощавшей молодому автору и некоторую облегченность отдельных героев (особенно легко преодолевал все в жизни симпатичный Саша Зеленин) и профессиональные поспешности письма...

Через год появился «Звездный билет». Этот торопливый, но талантливый роман сразу вызвал волну критических статей, часть из которых необычайно сурово подходила к молодому автору, чуть ли не брала под сомнение его гражданственность. Другие критики более доброжелательно и более объективно оценившие

его книгу, не могли не заметить подчас удивительно легковесных, а то и легкомысленных авторских решений.

И вот два его новых рассказа «На полпути к Луне» и «Папа, сложи» («Новый мир» № 7).

О первом из них покойный Николай Погодин писал в «Известиях», что молодой автор открыл тут новый, не известный еще литературе социальный тип. Рассказ написан лихо, озорно, динамично... Но мне хотелось бы обратить внимание на второй рассказ — «Папа, сложи!»

Это рассказ о молодом рабочем, гуляющем в воскресенье с дочкой. О молодом, но уже стареющем футболисте, который уже не будет играть за команду мастеров. О молодом отце, которого дочка заставила в этот день оторваться от компании старых друзей...

Тут в сущности ничего как будто и не происходит. Начиная с прозаического заглавия и кончая его сюжетом — все до необычности просто. Очень трудно описать случай исключительный так, чтобы читатель поверил: «Так могло произойти». Еще труднее — взять кусок жизни, на первый взгляд, обыденный из обыденных и вдруг открыть нам в нем то, что никто еще не разглядел, но мимо которого ходил сотни раз...

Право же, рассказ «Папа, сложи» — это то чудо искусства, когда как будто бы и ничего не случилось, а забыть нельзя, ибо за этим маленьким эпизодом — стоит нечто очень важное в жизни.

Рассказ ни о чем? Или о том неуловимом, неопределимом и в то же время как-то очень прочно определяющем подчас нашу жизнь? Верно — второе. Это рассказ о тревоге, которая охватывает человека тогда, когда, казалось, все «нормально», как сказал бы недалекий Кирпиченко из предшествующего рассказа... Все «нормально», а тревога не проходит, хотя и появилась как будто беспринципно. Но ничего не беспринципно. Для тревоги есть основания! И написан рассказ рукой настоящего художника, добавим — тонкого, вдумчивого, владеющего секретом проникновения в неуловимые почти движения души.

В этот ничем не выделявшийся воскресный московский день Сергей ощущал впервые, что нет спокойствия, нет устойчивости в его жизни — все призрачно. Кончилась юность, кончилась первая весенняя любовь, кончились благодушные надежды и на спортивную славу и на многое другое. Есть еще иллюзии, но настанет час, когда иллюзии развеются как туман. Сергей и его приятели не поняли, что их время ушло.

Какая это в сущности большая проблема — человек, живущий по законам времени, которое уже прошло. Она может быть поставлена и на очень крупных явлениях и на таких небольших, как в этом рассказе. Но она остается в обоих случаях очень важной, общеинтересной.

Что же происходит с Сергеем? Моральное обновление? Но это слишком громко сказано. Перед нами именно та тревога, которая заставляет человека ощутить переломность, кризисность своего состояния. Грубо говоря, Сергей ощущал со всей определенностью — так жить нельзя, это обман других, самого себя. И с каким тактом, с какой особой поэзией, поэзией будничной правды каждый новый приступ тревоги у Сергея оттеняется как будто бы бездумной болтовней Олечки. А между тем, Олечка — это в смешном и наивном олицетворении та ответственность, которую жизнь вдруг со всей беспощадной прямотой предъявила Сергею.

Покой нарушен. Покоя нет. Иллюзии надо отбросить. Футболиста из тебя не вышло, но человек-то должен получиться. Таков закон жизни. Нашей. Общества твор-

цов, общества, где покой, иллюзии, самодовольство — веши осуждаемые.

Идея рассказа серьезна и возвышенна, гуманна. И как тонко, как изящно создана вся вещь! Как интимно звучит авторский голос — то сливаясь с героем, то отходя чуть в сторону, показывая нам Сергея со стороны. Есть в этом что-то чеховское — в переливах светотени, прозрачности неярких красок, в задушевной приглушенности голоса и в то же время в беспощадной прямой правде и неаффектирующей себя, но глубокой любви к людям...

Уже не острый репортаж происходящего, не страстную исповедь очевидца, не заносчивость молодого таланта, старающегося войти в литературу, производя как можно больше шума, нет, а тихий голос писателя, становящегося уже настоящим художником, слышим в этом рассказе.

МЫ ГОВОРИЛИ о новых именах в литературе и о необычных темах, наконец, о новых художественных формах. Но среди вновь пришедших писательских имен, среди впервые поднятых тем и среди смелых художественных открытий совершенно исключительное место занимает небольшая повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» («Новый мир» № 11).

В самом факте появления в печати этой вещи, в том, как единодушно приветствовали ее и читатели и критика — один из самых знаменательных результатов воздействия на литературу решений XXII съезда КПСС. Чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не повторились чудовищные беззакония времен культа личности, чтобы никогда не воскресли эти болезненные явления, призывает нас партия до конца исследовать всю полную правду о прожитом. И литература помогает партии в этом сугубом, но необходимом акте.

Всего один день из жизни «зэка» — заключенного номер Щ-854 рассказал нам. В этот день 1951 года не происходит никаких-либо ужасных происшествий в лагере, автор совсем не собирается нас пугать, расписывать всяческие «страсти господни». День этот, как горько пишет автор, «ничем не омраченный, почти счастливый» — но все в нем противоречит нашим советским, коммунистическим понятиям о нравственности, о справедливости, о законности... Все — начиная с возникновения самого лагеря, где собраны, нередко, люди безвинные и кончая повседневными черточками страшного лагерного быта, унижающего на каждом шагу достоинство советского человека... А ведь таких дней в «сроке» Ивана Денисовича «было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три дня лишних добавлялось».

Не знала еще наша литература такого героя, вернее героя такой трагической судьбы. Не был Иван Денисович Шухов коммунистом ленинской гвардии, кого Сталин боялся и старался уничтожить физически или пожизненно заточить в лагерях. Нет, Иван Денисович — человек куда более скромный, он рядовой труженик, тот, кого Сталин пренебрежительно именовал «винтиками» и обращался столь же бесцеремонно, как с винтиками. Иван Денисович работает-колхозник, потом солдат в войне с фашизмом, попавший в плен, бежавший и осужденный своими же! Он — «шпион». «Шпионов — в каждой бригаде по пять человек, но это шпионы деланные. По делам приходят как шпионы, а сами пленники просто». Шухов — он такой вот, «деланный» шпион. И, может быть, трагизм происходящего потому так силен, так воздействует на нас, что перед нами не только его, Шухова, трагедия — а трагедия всего народа, общая наша горькая, обиднейшая беда.

Конечно, в лагере попадаются и действительно виновные — упорно говорят об одном молдаванине, что уж он-то шпион настоящий, попадаются и чистые уголовники, которым невесть почему дали политическую

«статью»; есть и бандеровцы, стрелявшие в советских людей... Но ужас в том, что Сталин подорвал все критерии справедливости, что произвол валил все в кучу, как мрачно рассуждает герой, «всем в круговую по двадцать пять сунули. Потому пора теперь такая: двадцать пять, одна мерка». Сидит в лагере Сенкава Клевшин. Он храбро воевал, попал в плен. Бежал. Ловили. Трижды бежал и трижды ловили. Фашисты сунули его в Бухенвальд — он там «чудом смерть обманул». Наконец — пробился к своим — и послан отбывать срок после фашистского в наш лагерь. Под койкой Ивана Денисовича спит капитан второго ранга, коммунист Буйновский. Вся вина его в том, что он получил подарок от английского адмирала в память былых совместных сражений на Севере. Как ножом удараляет в сердце, одна короткая строчка: «один поможе, бывший Герой Советского Союза»... И как зловещий закон: «Конца срока в этом лагере ни у кого не было». Это все читать горько, читать страшно, но — необходимо. Ибо прямая и открытая правда не раслабляет, а закаляет.

Есть в этой повести еще один важный аспект — она беспощадно рисует нравственное одичание тех, кто поставлен над «работягами» — заключенными. Ничего человеческого уже не осталось в мрачном садисте, носящем зловещую фамилию — Волковой. Страшная ржавчина произвела, безнаказанность разъедает души надзирателей и многочисленной «дворни» — стукачей-донасчиков, всякого рода «придурков», как зовут их труяги — прислужников из среды самих заключенных. Они развращены, подкуплены, в них возобладали самые дурные человеческие качества — хамство, взяточничество, корыстолюбие, доносительство, жестокость и т. п. Это — язва, и остатки ее дают себя знать и тогда, когда уже лагерей нет и в помине.

Однако ошибутся те читатели, которые воспримут эту повесть с ее, так сказать, чисто разоблачительной стороны. Нет — перед нами не «сensation» и не то, что можно было бы коротко назвать — «обвинительный документ». Перед нами — явление высокого искусства, это художественное освоение и закрепление в памяти народной трагического жизненного материала. Перед нами большая победа литературы социалистического реализма — реализма, то есть великой и бескомпромиссной правды. Великий Ленин учил партию воспитывать народ самой прямой и бесстрашной правдой. Это закон нашего общества, нашей литературы.

В цитировавшемся уже мною произведении Виктора Некрасова «По обе стороны океана», автор, споря с итальянским писателем Пазолини, говорил: «И если литература наша до сих пор еще по-настоящему не заговорила о том сложном, горьком и противоречивом, что связано с тем, что мы называем сейчас периодом культа личности, то это дело только времени. Миновать трагические события нашей жизни советская литература, при всем ее стремлении к жизнеутверждающему (а может быть, именно в силу этого) просто не может». Мы можем сказать — наша литература сделала это. И сделала как сильная, высокохудожественная литература.

Шухов помнит слова своего первого лагерного бригадира: «Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут». Повесть эта, суровая, местами и мрачная, отнюдь не пессимистична. Она пронизана верой в человека, в то, как людское прорывается и торжествует над звериным, над «законом тайги». Она, эта повесть, очищает и возвышает душу прежде всего тем, что говорит прямо и открыто о том, что буравило совесть каждого из нас напоминанием о громадной народной драме. Она, эта повесть, в самих «зэках», в их повседневном тяжком быте открывает незамерзающие родники чистых сил. Да, Иван Денисович — может «закоснить» лишь

нюю миску, ухитриться подзаработать на чужой посылке... Но Шухов нигде не опускается до уровня «шакала» Фетюкова. Он свято блудет негласную, но высокую лагерную этику «работяг». И не затоптать в эзках достоинства людского! Как смело Буйновский обрушивается на Волкового, кричит ему в лицо: «Вы не советские люди! Вы не коммунисты!» Здесь позиция автора — нравственная, гражданская!

Каждый читатель, наверно, радостно поразился, когда дошел до отлично выписанной сцены работы. Горький когда-то справедливо говорил, что труд требует для своего изображения не столько идиллии, сколько суровых красок трагедии. Здесь труд и трагичен, ибо это все же труд каторжников, и это великий, возвышающий души труд, где прорывается самое глубинное у «эзков»... Они не могут не внести в работу весь жар сердца, всю силу своих рук, своего органичнейшего, проникшего в плоть и кровь стремления строить, созидать, устраивать по справедливому закону мира...

Сейчас необычностью формы уже не очень удивишь читателя — иные из молодых авторов чего только не придумают ради «необычности». Истинная оригинальность и действительная необычность «Одного дня...» как раз во внешней, казалось бы даже будничной обычности и самой формы рассказа и самого сюжета. Но глядитесь внимательнее в эту «обычность» — тут все не так просто, как кажется на первый, поверхностный взгляд.

Повесть написана не от первого лица, но в то же время словно бы и не авторским языком, а языком самого героя. Это напоминает сказовую манеру произведений двадцатых годов. Тогда, сразу после революции, стремясь передать неповторимую атмосферу взбудораженной, взметенной народной стихии, и Горький, и Всеволод Иванов, и Бабель, и Леонов, и многие другие художники прибегали к такой сказово-повествовательной форме. А. Солженицын отлично владеет ею. Иные читатели, возможно, запнутся на некоторых словечках, почерпнутых из лагерной среды. Искренне советую: перешагните через привычные нормы и догмы! Автор действительно воссоздает и языковую атмосферу описываемого страшного мира и особый эмоциональный «настрой» вещи. При этом — право же — он полностью наделен чувством художественной меры!

А посмотрите, какой истинно русский, глубинный, емкий, многозначный язык его повести! Любой абзац, на выбор, и всюду — удивительная точность, меткость определений, сравнений, подлинная живопись словом. Вот, скажем, описание горячей работы на морозе: «Шухов и другие каменщики перестали чувствовать мороз. От быстрой захватчивой работы прошел по ним сперва первый жарок — тот жарок, от которого под бушлатом, под телогрейкой, под верхней и нижней рубахами мокреет. Но они ни на миг не останавливались и гнали кладку дальше и дальше. И часом спустя пробил их второй жарок — тот, от которого пот высыхает». Тут не только все предельно верно в смысле изображения работы — тут слова-то отысканы какие-то светящиеся — «жарок», «пробил второй жарок», «захватчивая работа». Или скрыто-саркастическое описание поведения и логики конвоя, без конца пересчитывающего заключенных: «Человек — дороже золота. Одной головы за проволокой недостанет — свою голову добавишь туда». Мне говорили знакомые читатели, что они по несколько раз перечитывали отдельные страницы повести, поражаясь редкой в наши дни красоте языка. Повторю — красоте, а не вычурности его — последнюю встретить не так уж трудно.

Повествование, казалось бы, слепо идет вслед за со-



Э Т О Н О В Ы Е К Н И Г И

бытиями дня, а посмотрите, с какой экономностью первоклассного художника отобраны тут самые резкие, самые впечатляющие детали, самые врезывающиеся в память эпизоды. В повести буквально нет ни одного абзаца «проходного», написанного бездумно, ради простой иллюстрации. За внешней непрятательностью — огромная работа художника, добивающегося предельного правдоподобия, предельной достоверности и типичности.

Об этой повести уже немало написано и будут писать еще не раз. Я хочу сказать в заключение — это мое личное, глубокое убеждение, — что вижу в ней некий художественный эталон, достигнутый сегодняшней нашей смелой, подлинно партийной советской литературой. Этalon бесстрашной правды, взыскательной художественной работы, эталон мысли и глубины, который окажет воздействие на всех писателей — именитых и не именитых, старых и молодых. И после нее станет все труднее и труднее выходить к нашему читателю с полуправдой, с книгами холодными и равнодушными...

Мы строим коммунизм. Это великая переделка человека. И литература для этого нужна воистину великая. Право же, год, прожитый после исторического XXII съезда, говорит, что наша истинно художественная литература набирает высоту. Она — на верном пути.